

Адмиралтейская игла. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://nabokovvladimir.ru/> Приятного чтения!

Адмиралтейская игла. Владимир Владимирович Набоков

Вы меня извините, милостивая государыня, я человек грубый и прямой, а потому сразу выпалю: не обольщайтесь, – сие письмо исходит вовсе не от поклонника Вашего таланта, – оно, как Вы сейчас удостоверитесь сами, довольно странное и, может статься, послужит не только Вам, но и прочим стремительным романисткам, некоторым уроком. Спешу прежде всего представиться Вам, дабы зримый облик мой просвечивал, вроде как водяной знак, – что гораздо честнее, чем молчанием потакать тем неправильным заключениям, которые глаз невольно выводит из начертания строк. Нет, – несмотря на мой поджарый почерк и молодую прыть запятых, я жирный, я пожилой; правда, полнота моя – не вялая, в ней есть изюминка, игра, злость. Это Вам, сударыня, не отложные воротнички поэта Апухтина. Впрочем – будет: Вы, как писательница, уже доделали меня всего по этим намекам. Здравствуйте. А теперь перейдем к сути.

На днях, в русской библиотеке, загнанной безграмотным роком в темный берлинский проулок, мне выдали три-четыре новинки, – между прочим, Ваш роман “Адмиралтейская Игла”. Заглавие ладное, – хотя бы потому, что это четырехстопный ямб, не правда ли, – и притом знаменитый. Но вот это-то ладное заглавие и не предвещало ничего доброго. Кроме того, я вообще, побаиваюсь книг, изданных в лимитрофах. Все же, говоря я, Ваш роман я взял.

О милостивая государыня, о госпожа Сергей Солнцев, как легко угадать, что имя автора – псевдоним, что автор – не мужчина! Все Ваши фразы запахиваются налево. Пристрастие к таким выражениям, как “время шло” или “зябка куталась в мамин платок”, неизбежное появление эпизодического корнета, произносящего “р”, как “г”, и, наконец, сноски с переводом всем известных французских словечек, достаточно определяют степень Вашей литературной опытности. Но все это еще полбеда.

Представьте себе такую вещь: я, скажем, однажды гулял по чудным местам, где бегут бурные воды и повелика душит столпы одичалых развалин, – и вот, спустя много лет, нахожу в чужом доме снимок: стою гоголем возле явно бутафорской колонны, на заднем плане – белесый мазок намалеванного каскада, и кто-то чернилами подрисовал мне усы. Откуда это? Уберите эту мерзость! Там воды гремели настоящие, а главное, я там не снимался никогда.

Пояснить ли Вам притчу? Сказать ли Вам, что такое же чувство, только еще глупее и гаже, я испытал при чтении Вашей страшной, Вашей проворной “Иглы”? Указательным пальцем взрывая страницы, глазами мчась по строкам, я читал и только отмигивался, – так был изумлен!

Вы хотите знать, что случилось? Извольте. Грузно лежа в гамаке и беззаботно водя вечным пером (что почти каламбур), Вы, сударыня, написали историю моей первой любви. Изумлен, изумлен, и, так как я тоже грузный, изумление сопряжено с одышкой. Вот мы с Вами пытим, ибо несомненно и Вы ошарашены тем, что обьявился герой, Вами выдуманный. Нет, я обмолвился... Гарнир – Ваш, положим фарш и соус тоже Ваши, но дичь (опять почти каламбур), дичь, сударыня, не Ваша, а моя, с моей дробинкой в крылышке. Диву даюсь, – где и как неведомой даме удалось похитить мое прошлое? Неужели приходится допустить, что Вы знакомы с Катей, – более того, хороши с ней, – и что она все Вам и выболтала, сумерничая под балтийскими соснами вместе с Вами, прожорливой романисткой? Но как Вы смели, как хватило у Вас бесстыдства, не только использовать катин рассказ, но еще исказить его так непоправимо?

Со дня последнего свидания прошло шестнадцать с лишком лет, – возраст невесты, старого пса или советской республики. Кстати, отметим первую, но отнюдь не худшую, из Ваших несметных и смутных ошибок: мы не ровесники с Катей, – мне шел восемнадцатый год, – ей двадцатый. Доверясь испытанному методу, Вы заставляете свою героиню обнажиться перед трюмо и затем описываете ее распущенные, пепельные (конечно) волосы и юные формы. По-вашему ее васильковые глаза становились в минуты задумчивости фиалковыми: ботаническое чудо! Вы их отделили черной бахромой ресниц, которая, добавлю от себя, как бы удлинялась к внешним углам, придавая глазам разрез особенный, но мнимый. Катя была стройна, но слегка горбилась, – приподнимала плечи, входя в комнату. Она у Вас – статная девушка с

Адмиралтейская игла. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
грудными нотками.

Это мучительно, – я думал было выписать Ваши образы, которые все фальшивы, и язвительно сопоставить с ними мои непогрешимые наблюдения, – но получается “кошмарная чепуха”, как сказала бы настоящая Катя, – а именно: логос, отпущенный мне, не обладает достаточной точностью и мощностью, чтобы распутаться с Вами; напротив, сам застреваю в липких тенетах Вашей условной изобразительности, и вот уже нет у меня сил спасти Катю от Вашего пера. И все-таки я буду, как Гамлет, спорить, – и переспорю Вас.

Тема Вашего произведения – любовь, слегка декадентская, на фоне начавшейся революции. Катю Вы назвали Ольгой, а меня – Леонидом. Допустим. Наше первое знакомство – на елке у общих друзей, – встречи на Юсуповском катке, ее комната с темно-синими обоями, мебелью из красного дерева и одним-единственным украшением: фарфоровой балериной, поднявшей ножку, – все это так, все это правда, – однако Вы умудрились подернуть все это налетом какой-то фасонистой лжи. Занимая свое место в кинематографе “Паризиана”, Леонид кладет перчатки в треуголку, но через две-три страницы он уже оказывается в партикулярном платье, – снимает котелок, и перед читателем – элегантный юноша с пробором по самой середине маленькой, словно налакированной головы и фиолетовым платочком, свесившимся из карманчика. Помню, действительно, что я одевался под Макса Линдера, и помню, как щедро прыщущий вежеталь холодил череп, и как мсье Пьер, прицелившись гребешком, перекидывал мне волосы жестом линотипа, а затем, сорвав с меня завесу, кричал пожилому усачу: “Мальшик, пашисть?” К тогдашнему платочку и белым гетрам моя память относится ныне с иронией, – но вот уж никак не может примирить воспоминание о муках слишком раннего бритья с матовой, ровной бледностью, о которой Вы пишете. И я оставляю на Вашей совести мои лермонтовские глаза и породистый профиль, благо теперь ничего не разобрать, в виду неожиданного ожирения.

Боже, не дай мне погрязнуть в прозе этой пишущей дамы, которой я не знаю и не хочу знать, но которая с поразительной наглостью посягнула на чужое прошлое! Как Вы смеете писать, что “красивая елка, переливаясь огнями, казалось, сулила им радость ликующую”? Вы все потушили своим дыханием, – ибо достаточно одного прилагательного, поставленного, ради красоты, позади существительного, чтобы извести лучшее воспоминание. До несчастья, то есть до Вашей книги, таким воспоминанием был для меня зыбкий, мелкий свет в катиных глазах и малиновый отблеск на щеке от глянцевого домика, висевшего с ветки, когда, отстраняя хвою, она тянулась вверх, чтобы щипком прикончить обезумевшую свечку. Что же теперь мне осталось от этого? Ничего, – только тошный душок литературной гари.

По-вашему выходит так, что мы с Катей вращались в каком-то изысканно культурном бомонде. Ошибка на параллакс, сударыня. В среде – пускай светской, – к которой Катя принадлежала, вкусы были по меньшей мере отсталые. Чехов считался декадентом, К. Р. – крупным поэтом, Блок – вредным евреем, пишущим футуристические сонеты об умирающих лебедях и лиловых ликерах. Какие-то французские и английские стихи ходили в списках по рукам и списывались снова, не без искажений, причем имя автора незаметно выпадало, так что они совершенно случайно приобретали соблазнительную анонимность, да и вообще, их странствования забавно сопоставить с подпольным списыванием крамольных стишков, практиковавшимся в других кругах. О том, сколь незаслуженно эти женские и мужские монологи о любви считались образцами новейшей иностранной лирики, можно судить по тому, что баловнем среди них было стихотворение бедного Луи Буйе, писавшего в середине прошлого века. Катя, упиваясь рокотом, декламировала его и злилась, когда я придирался к звучнейшей строфе, где, назвав свою страсть смычком, автор сравнивает свою подругу с гитарой. К стати, о гитаре. Вы пишете, мадам, что “по вечерам собиралась молодежь, и Ольга, облокотясь, пела роскошным контральто”. Что ж – еще одна смерть, еще одна жертва Вашей роскошной прозы. А как я лелеял отзвук той цыганщины, которая склоняла Катю к пению, меня к сочинению стихов... Я знаю, что это была цыганщина уже ненастоящая, не та, что пленяла Пушкина, даже не григорьевская муза, а полудышащая, затасканная, обреченная, – причем все содействовало ее гибели, и граммофон, и война, и всякие “песенки”. Недаром, в очередном припадке провидения, Блок записал какие помнил слова романсов, точно торопясь спасти хоть это, пока не поздно.

Сказать ли Вам, что бормотание и жалобы эти значили для нас? Открыть ли Вам образ далекого, странного мира, где, низко склонясь над прудом, дремлют ивы, и страстно рыдает соловушка в сирени, и встает луна, и всеми чувствами правит память – этот злой властелин ложно-цыганской романтики? Нам с Катей тоже

Адмиралтейская игла. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru хотелось вспоминать, но так как вспоминать было нечего, мы подделывали даль и свое счастливое настоящее отодвигали туда. Мы превращали все видимое в памятки, посвященные нашему – еще не бывшему – былому, глядя на тропинку, на луну, на ивы теми глазами, которыми теперь мы бы взглянули, – с полным сознанием невозместимости утрат, – на тот старый, топкий плот на пруду, на ту луну над крышей коровника. Я полагаю даже, что по смутному наитию мы заранее кое к чему готовились, – учась вспоминать и упражняясь в тоске по прошлому, дабы впоследствии, когда это прошлое действительно у нас будет, знать, как обращаться с ним и не погибнуть под его бременем.

Но какое Вам дело до всего этого! Описывая, как я летом гостил в Глинском, Вы загоняете меня в лес и там меня принуждаете писать стихи, дышащие молодостью и верой в жизнь. Все это происходило не совсем так. Пока остальные играли в теннис – одним красным мячом и какими-то пудовыми расхлябанными ракетками, найденными на чердаке, – или в крокет, на круглой площадке, до смешного плевелистой, с одуванчиком перед каждой дужкой, – мы с Катей иной раз удирали на огород и, присев на корточки, наедались до отвала: была яркая виктория, была ананасовая – зеленовато-белая, чудесно-сладкая, – была клубника, обмусоленная лягушкой; не выпрямляя спин, мы передвигались по бороздам и кряхтели, и поджилки ныли, и темной, алой тяжестью наполнялось нутро. Жарко наваливалось солнце, – и это солнце, и земляника, и катино чесучовое платье, потемневшее под мышками, и поволока загара сзади на шее, – в какое тяжелое наслаждение сливалось все это, какое блаженство было, – не поднимаясь, продолжая рвать ягоды, – обнять Катю за теплое плечо и слушать, как она, шаря под листьями, охает, посмеивается, потрескивает суставами. Извините меня, если от этого огорода, плывущего мимо, в ослепительном блеске парников и колыхании мохнатых маков, я прямо перейду к тому закутку, где, сидя в позе роденовского мыслителя, сеще горячей от солнца головой, сочиняю стихи. Они были во всех смыслах ужасно печальны, эти стихи, – в них звучали и соловьи романсов, и кое-что из наших символистов, и беспомощные отголоски недавно прочитанного; *Souvenir, Souvenir, que me veux-tu? L'automne...* [1] – хотя осень еще была далека, и счастье мое чудным голосом орало поблизости, где-то, должно быть, у кегельбана, за старыми кустами сирени, под которыми свален был кухонный мусор и ходили куры. А по вечерам, на веранде, из красной, как генеральская подкладка, пасти граммофона вырывалась с трудом сдерживаемая цыганская страсть, или на мотив “Спрятался месяц за тучку” грозный голос изображал Вильгельма: “Дайте перо мне и ручку, хочу ультиматум писать”, – а на площадке сада катин отец, расстегнув ворот, выставив вперед ногу в мягком сапоге, целился, как из ружья, в рюхи и бил сильно, но мимо, – и заходящее солнце концом последнего луча перебирало по частоколу сосновых стволов, оставляя на каждой огненную полоску. И когда, наконец, наступала ночь и в доме спали, мы из аллеи смотрели с Катей на темный дом и до ломоты засиживались на холодной, невидимой скамейке, – и все это казалось нам чем-то уже давным-давно прошедшим, – и очертания дома на зеленом небе, и сонное движение листвы, и наши длительные слепые поцелуи.

Красиво, с обилием многоточий, изображая то лето, Вы конечно ни на минуту не забываете, – как забывали мы, – что с февраля “страной правило Временное Правительство”, и заставляете нас с Катей чутко переживать смуту, то есть вести (на десятках страниц) политические и мистические разговоры, которых – уверяю Вас – мы не вели никогда. Я, во-первых, постеснялся бы с таким добродетельным пафосом говорить о судьбе России, а во-вторых, мы с Катей были слишком поглощены друг другом, чтобы засматриваться на революцию. Достаточно сказать, что самым ярким моим впечатлением из этой области был совсем пустяк: как-то, на Миллионной, грузовик, набитый революционными весельчаками, неуклюже, но все же метко вильнув в нужную сторону, нарочно раздавил пробежавшую кошку, – она осталась лежать в виде совершенно плоского, выглаженного, черного лоскута, только хвост был еще кошачий, – стоял торчком, и кончик, кажется, двигался. Тогда это меня поразило каким-то сокровенным смыслом, но с тех пор мне пришлось видеть, как в мирной испанской деревне автобус расплющил точно таким же манером точно такую же кошку, так что в сокровенных смыслах я разуверился. Вы же не только раздули до неузнаваемости мой поэтический дар, но еще сделали из меня пророка, ибо только пророк мог бы осенью семнадцатого года говорить о зеленой жиже ленинских мозгов или о внутренней эмиграции.

Нет, в ту осень, в ту зиму мы не о том говорили. Я погибал. С любовью нашей Бог знает что творилось. Вы это объясняете просто: “Ольга начинала понимать, что была скорей чувственная, чем страстная, а Леонид – наоборот. Рискованные ласки, понятно, опьяняли ее, но в глубине оставался всегда нерастаявший кусочек”, и так

Адмиралтейская игла. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
далее, в том же претенциозно-пошлом духе. Что Вы поняли в нашей любви? Я сознательно избегал до сих пор прямо говорить о ней, но теперь, кабы не боязно было заразиться Вашим слогом, я подробнее изобразил бы и веселый ее жар, и ее основную унылость. Да, – было солнце, полный шум листвы, безумное катание на велосипедах по всем излучистым тропинкам парка, – кто скорей домчится с разных сторон до срединной звезды, где красный песок был сплошь в клубящихся змеевидных следах от наших до каменной твердости надутых шин, – и всякая живая, дневная мелочь этого последнего русского лета надрываясь кричала нам: вот я – действительность, вот я – настоящее! И пока все это солнечное держалось на поверхности, врожденная печаль нашей любви не шла дальше той преданности небывшему быломu, о которой я уже упоминал. Но когда мы с Катей опять оказались в Петербурге, и уже не раз выпадал снег, и уже торцы были покрыты той желтоватой пеленой, смесью снега и навоза, без которой я не мыслю русского города, – изъян обнаружился, и ничего не осталось нам, кроме страдания.

Я вижу ее снова, в котиковой шубе, с большой плоской муфтой, в серых ботиках, отороченных мехом, передвигающуюся на тонких ногах по очень скользкой панели, как на ходулях, – или в темном, закрытом платье, сидящую на синей кушетке, с лицом пушистым от пудры после долгих слез. Идя к ней по вечерам и возвращаясь за полночь, я узнавал среди каменной морозной, сизой от звезд ночи невозмутимые и неизменные вежи моего пути, – все те же огромные петербургские предметы, одинокие здания легендарных времен, украшавшие теперь пустыню, становившиеся к путнику вполборота, как становится все, что прекрасно: оно не видит вас, оно задумчиво и рассеянно, оно отсутствует. Я говорил сам с собой, – увещевая судьбу, Катю, звезды, колонны безмолвного, огромного отсутствующего собора, – и когда в темноте начиналась перестрелка, я мельком, но не без приятности, думал о том, как подденет меня шальная пуля, как буду умирать, туманно сидя на снегу, в своем нарядном меховом пальто, в котелке набекрень, среди оброненных, едва зримых на снегу, белых книжечек стихов. А не то, всхлипывая и мыча на ходу, я старался себя убедить, что сам разлюбил Катю, припоминал, спешно собирая все это, ее лживость, самонадеянность, пустоту, мушку, маскирующую прыщик, и особенно картавый выговор, появившийся, когда она без нужды переходила на французский, и неузвимую слабость к титулованным стихам, и злобное, тупое выражение ее глаз, смотревших на меня исподлобья, когда я в сотый раз допрашивал ее, – с кем она провела вчерашний вечер... И как только все это было собрано и взвешено, я с тоской замечал, что моя любовь, нагруженная этим хламом, еще глубже осела и завязла, – и что никаким битюгам с железными жилами ее из трясины не вытянуть. И на другой вечер – пробиваясь сквозь матросский контроль на углах, требовавший документов, которые все равно давали мне пропуск только до порога Катиной души, а дальше были бессильны, – я снова приходил глядеть на Катю, которая при первом же моем жалком слове превращалась в большую, твердую куклу, опускавшую выпуклые веки и отвечающую на фарфоровом языке. И когда, наконец, в памятную ночь я потребовал от нее последнего, сверхправдивого ответа, Катя просто ничего не сказала, – осталась неподвижно лежать на кушетке, зеркальными глазами отражая огонь свечи, заменявшей в ту ночь электричество, – и я, дослушав тишину до конца, встал и вышел. Спустя три дня я послал ей со слугой записку, – писал, что покончу с собой, если хоть еще один раз ее не увижу, и вот, помню, как восхитительным утром с розовым солнцем и скрипучим снегом, мы встретились на Почтамтской, – я молча поцеловал ей руку, и с четверть часа, не прерывая ни единым словом молчание, мы гуляли взад и вперед, а на углу бульвара стоял и курил, с притворной непринужденностью, весьма корректный на вид господин в каракулевой шапке. Мы с ней молча ходили взад и вперед, и прошел мальчик, таща санки с рваной бахромкой, и загремевшая вдруг водосточная труба извергла осколок льдины, и господин на углу курил, – и затем, на той же как раз точке, где мы встретились, я так же молча поцеловал ей руку, навсегда скользнувшую обратно в муфту, и ушел – уже по-настоящему. Когда, слезами обливаясь, ее лобзая вновь и вновь, шептал я, с милой расставаясь, прощай, прощай, моя любовь. Прощай, прощай, моя отрада, моя тоска, моя мечта, мы по тропам заглохшим сада уж не пройдемся никогда... Да-да, прощай... Ты все-таки была прекрасна, непроницаемо прекрасна и до слез обаятельна, – несмотря на близорукость души и праздность готовых суждений, и тысячу мелких предательств, – а я, должно быть, со своей заносчивой поэзией, тяжелым и туманным строем чувств и задыхающейся, гугнивой речью, был, несмотря на всю мою любовь к тебе, жалок и противен. И нет нужды мне рассказывать тебе, как я потом терзался, как вглядывался в фотографию, где ты, с бликом на губе и светом в волосах, смотришь мимо меня. Катя, отчего ты теперь так напакостила?

Давай поговорим спокойно и откровенно. С печальным писком выпущен воздух из

Адмиралтейская игла. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru резинового толстяка и грубияна, который, туго надутый, паясничал в начале этого письма, – да и ты вовсе не дородная романистка в гамаке, а все та же Катя – с рассчитанной порывистостью движений и узкими плечами, – миловидная, скромно подкрашенная дама, написавшая из глупого кокетства совершенно бездарный роман. Смотри – ты даже прощания нашего не пощадила! Письмо Леонида, в котором он грозит Ольгу застрелить и которое она обсуждает со своим будущим мужем; этот будущий муж в роли соглядатая, стоящий на углу, готовый ринуться на помощь, если Леонид выхватит револьвер, который он сжимает в кармане пальто, горячо убеждая Ольгу не уходить и прерывая рыданиями ее разумные речи, – какое это все отвратительное, бессмысленное вранье! А в конце книги ты заставляешь меня попасться красным во время разведки и с именами двух изменниц на устах – Россия, Ольга, – доблестно погибнуть от пули чернокудрого комиссара. Крепко же я любил тебя, если я все еще вижу тебя такой, какой ты была шестнадцать лет тому назад, и с мучительными усилиями стараюсь вызволить наше прошлое из унижительного плена, спасти твой образ от пытки и позора твоего же пера! Но не знаю, право, удастся ли мне это. Мое письмо странно смахивает на те послания в стихах, которые ты так и жарила наизусть, – помнишь? “Увидев почерк мой, Вы верно удивитесь...” Однако я удержусь, не кончу призывом “здесь море ждет тебя, широкое, как страсть, и страсть, широкая, как море...” – потому что, во-первых, здесь никакого моря нет, а во-вторых, я вовсе не стремлюсь тебя видеть. Ибо после твоей книги я, Катя, тебя боюсь. Ей-Богу, не стоило так радоваться и мучиться, как мы с тобой радовались и мучились, чтобы свое оплеванное прошлое найти в дамском романе. Послушай меня, – не пиши ты больше! Пускай это будет хотя бы уроком. “Хотя бы” – ибо я имею право желать, чтобы ты замерла от ужаса, поняв содеянное. И еще, – знаешь, что мечтается мне? Может быть, может быть (это очень маленькое и хилое “может быть”, но, цепляясь за него, не подписываю письма), может быть, Катя, все-таки, несмотря ни на что, произошло редкое совпадение, и не ты писала эту гиль, и сомнительный, но прелестный образ твой не изуродован. Если так, то прошу Вас извинить меня, коллега Солнцев.

Берлин, 1933 г.

1 Воспоминание, воспоминание, что ты от меня хочешь? Осень... (франц.)

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://nabokovvladimir.ru/> Приятного чтения!
<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.
<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин
<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.
<http://filosoff.org/> философия, философы мира, философские течения. Биография
<http://dostoevskiyfyodor.ru/>
сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!